

Посвящается Сусане Серрадас

Пролог

Хруст улитки под ногой в темноте. Треск панциря. Скрежет. Слизь.

Звук отдается в зубах, и острая боль пронзает десны, словно воспаленный нерв.

Я не успеваю убрать ногу, не могу повернуть время вспять, исправить то, что я натворила. Я раздавила склизкие внутренности улитки, заторможенной, полусонной. Расплющила и вмяла их в землю. Еще несколько шагов я чувствую эту липкую жижу на ноге. Будто несущ место преступления на своей скользкой подошве. Смерть на моем ботинке. Размазанные кишки. Надо вытереть об траву.

Так бывает, когда идешь ночью по скользкой от дождя дороге и не видишь, куда наступаешь, а улитка не видит, кто наступает на нее. Я всегда жалела улиток, но теперь сама знаю, каково им. Воздаяние. Карма. Теперь я знаю, что чувствуешь, когда раскалывают твой панцирь и выставляют твои внутренности на всеобщее обозрение.

Он раздавил меня.

Протащил меня несколько шагов, размазав мое мягкое нутро по своей подошве. Интересно, его душа тоже запачкалась? Интересно, он почувствовал мой хруст и слизь под его взглядом, когда он бросил в меня полные ненависти слова, будто плюнул, и ушел. Несколько шагов волок на себе мой панцирь, прежде чем осознать, что еще не отделался от меня. Один поворот ноги, будто тушит сигарету, — и меня больше нет.

Мои останки на дороге. Треснувший панцирь, обнаженное, беззащитное мягкое нутро, которое я всеми силами оберегала. Крах всего, что я так долго выстраивала и защищала. Чувства, мысли, сомнения сочатся из всех трещин. Длинный серебристый след раздавленных надежд, словно мерзкой требухи.

Я не успела посторониться. Может, он и сам удивился тому, что натворил.

Но на этом жизнь не закончилась, хотя ощущение было именно такое. Я не погибла. Меня раздавили и бросили истекать кровью. От Аллегры Берд остались одни осколки. Невозможно склеить треснувший панцирь. Но можно выстроить новый.

Глава первая

Когда мне было тринадцать, я проводила линии между веснушками на руке, как в головоломке, где надо соединять точки. Поскольку я правша, моя левая рука покрылась паутиной синих полос от шариковой ручки. Со временем из этих полос сложились рисунки созвездий, прочерченных от веснушки к веснушке, точная копия ночного неба. Больше всего я любила рисовать Большую Медведицу — или Большой ковш, как называют в некоторых странах. Я мгновенно находила ее на небе, и, когда в школе-пансионе выключали свет и коридоры погружались в безмолвие, я включала лампу для чтения и при ее тусклом свете брала синюю гелевую ручку и проводила линии от веснушки к веснушке — всего семь звезд, — пока моя кожа не начала походить на карту звездного неба.

Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар и Алькаид. Я не всегда выбирала одни и те же веснушки, иногда усложняла себе задачу и старалась повторить созвездие в другом месте, например на ногах, но долго сидеть съежившись было тяжело — спина болела.

К тому же это было неестественно, будто я принуждала другие веснушки стать тем, чем они не были. У меня семь идеальных веснушек на левой руке, будто нарочно созданных для Большой Медведицы, так что я наконец решила не мучить другие веснушки и каждую ночь, после того как утренний душ смывал чернила, я снова бралась за работу.

Затем я переключилась на Кассиопею. Это было легко. За ней последовали Южный Крест и Орион. Над Пегасом пришлось потрудиться — четырнадцать звезд-веснушек, но мои руки чаще находились под солнцем, чем остальные части тела (за исключением лица), так что здесь было наибольшее скопление меланиновых клеток, идеально расположенных для созвездия из четырнадцати звезд.

В темноте нашей школьной спальни на соседней кровати, за перегородкой, тяжело дышала Кэролайн — она ласкала себя, думая, что никто не знает, а с другой стороны от меня Луиза перелистывала страницы аниме-комикса, который читала при свете фонарика. Напротив меня Маргарет уминала целый пакет шоколадных батончиков — потом она сунет пальцы в рот, чтобы ее вырвало; Оливия тренировалась целоваться на зеркале; а Лиз и Фиона целовались друг с другом. Кэтрин тихо всхлипывала, потому что скучала по дому, а Кэти писала гневное письмо своей маме, которая изменила папе, и все остальные воспитанницы школы-пансиона для девочек занимались своими тайными делами на этом единственном пятачке, который принадлежал только им, пока я чертила карту звездного неба на покрытой веснушками руке.

Мое тайное занятие недолго оставалось тайным. Я делала это каждую ночь, и один слой синей ручки накладывался на другой и в какой-то момент уже пе-

рестал стираться. Чернила просочились в поры моей кожи, и даже щетка, горячая вода и очень недовольная монахиня, Сестра Давайка (мы прозвали ее так за большую любовь к призывам, начинающимся со слов «Давай-ка...»: «Давай-ка воздадим благодарность и помолимся», «Давай-ка откроем книгу на странице семь», «Давай-ка потренируем броски из-под кольца» — она была еще и нашим баскетбольным тренером), не могли смыть их или отучить меня от этой привычки. На меня бросали косые взгляды в душевой, в бассейне, когда я носила короткие рукава. Странная девчонка с разрисованной рукой. «Это изображения небесных сфер, животных, мифологических героев и созданий, богов и предметов», — говорила я им, с гордостью протягивая руку и ни секунды не стыдясь своих рисунков.

В ответ мне читали лекции по отравлению чернилами. Снова и снова вызывали к школьному психологу. Добавляли круги на беговой дорожке. Они знали, что в здоровом теле здоровый дух, и пытались нагрузить меня занятиями, чтобы отвлечь от варварской склонности уродовать собственную кожу, но я воспринимала это как наказание. Пусть бегают кругами на стадионе, пока не свалится от усталости. Пусть девчонка забудет о своей коже. Но разве человек может забыть о своей коже? Я в ней. И я — это она. Что бы они ни говорили, я не могла остановиться. Каждый раз, когда выключали свет и тишина прокрадывалась в комнату, словно туман с моря, я слышала знакомый зов кожи.

Я не стеснялась чернильных полос. И косые взгляды меня не смущали. Единственное, что меня раздражало, — шум, который они поднимали по этому поводу, а ведь отметины на руках были не только у меня. Дженнифер Ланниган резала себя бритвой, крошеч-

ные порезы покрывали ее ноги. У меня была возможность разглядеть их на уроках английского языка — светлую полосу между ее серыми носками и серой юбкой. Нам не позволяли носить косметику в школе, но после уроков Дженнифер подводила глаза белым карандашом, красила губы черной помадой, сама проколола себе губу, слушала сердитые песни сердитых дядек, и по какой-то причине, глядя на ее внешний вид, мы считали это совершенно приемлемым — что она делает с собой такие чудовищные вещи.

Но я не была готов, и никто не находил психологического объяснения рисункам на моей коже. Комендант интерната обшаривала мои личные вещи и отбирала все мои ручки, которые благополучно возвращала мне утром, перед уроками, и снова отбирала после учебы. Люди смотрели на меня с опаской, когда я брала ручку, так обычно смотрят на детей с ножницами. Так что без ручек я неожиданно для себя оказалась в одной лодке с Дженнифер. Я никогда не понимала этого желания причинять себе боль, но разве не все средства хороши? Я наловчилась использовать заостренный угол линейки, чтобы царапать линии от веснушки к веснушке. Я знала, что сами веснушки трогать нельзя, меня уже предупреждали, как опасно сдирать родинки и веснушки. Со временем я заменила линейку более острыми предметами: циркулем, бритвой... и довольно скоро, придя в ужас от того, что она увидела на моей коже, комендант все-таки вернула мне ручки. Но было поздно, я уже потеряла к ним интерес. Боль мне никогда не нравилась, но кровь оставляла более стойкий след. Затвердевшие корочки между веснушками были намного заметнее, и теперь я не только видела созвездия, но и чувствовала их. Они щипали на открытом воздухе и саднили

под одеждой. Но было в них что-то утешающее. Я носила их как доспехи.

Я больше не царапаю кожу, но мне уже двадцать четыре, а созвездия все еще можно разглядеть. Когда я переживаю или злюсь, я ловлю себя на том, что провожу пальцами по выпуклым шрамам на левой руке, снова и снова, в правильной последовательности, от одной звезды к другой. Соединяю точки, разгадываю тайну, восстанавливаю цепочку событий.

Меня прозвали Веснушкой с первой учебной недели, когда я приехала в школу в двенадцать лет, и до семнадцати, когда уехала. Даже сейчас, если я случайно сталкиваюсь с кем-то из школы, они до сих пор называют меня Веснушкой, а настоящее имя давно забыли или никогда не знали. Хотя ничего плохого они не имели в виду, думаю, я всегда догадывалась, что они видят во мне только кожу. Не темную или светлую, как у большинства из них, — такую светлую, что она отражала солнце. Не привычного цвета, который чаще всего встретишь в нашем городе Терлсе, а того цвета, о котором они мечтали и использовали бутылки и спреи, чтобы добиться его, но больше походили на мандарин. У нас была масса девочек с веснушками, которые не получили это прозвище, но веснушки на темной коже — совсем другое дело. Меня это никогда не беспокоило, напротив, я приняла свое прозвище с радостью, потому что видела в нем тайный смысл.

Папина кожа белая, как снег, местами такая бледная, будто прозрачная, как бумажная калька с голубыми прожилками. Будто реки свинца. Волосы у него поседели и поредели, а когда-то были копной непослушных огненно-рыжих кудряшек. У него есть веснушки, розовые, на лице их так много, что, если бы они слились воедино, он засиял бы, как утренняя заря.

— Тебе повезло, что тебя прозвали Веснушкой, Аллегра, — говорил он, — меня обзывали только спичкой или, того хуже, писанным уродцем! — И хохотал во все горло. — Динь-динь-динь, моя голова горит, динь-динь-динь, ноль — один, — распевал он песню, которой его дразнили в детстве, а я подхватывала. Я и он — вместе против неприятных воспоминаний.

Свою маму я не знала, но мне говорили, что она иностранка. Экзотическая красавица, приехавшая учиться на ирландские берега. Кожа оливкового цвета, карие глаза, прямиком из Барселоны. Каталонка Карменсита Касанова. Даже имя звучит как сказка. И вот красавица встретила с чудовищем.

Папа говорит, должно же у меня быть что-то от него. Если бы у меня не было веснушек, он не смог бы претендовать на меня. Он шутит, конечно, но веснушки стали моей визитной карточкой. Поскольку, кроме него, у меня никого нет и никогда не было, мои веснушки связывают меня с ним удивительным образом. Они доказательство. Официальная печать небесной канцелярии, которая навеки сплела наши жизни. Свирепая толпа не сможет окружить наш дом, верхом на конях, с горящими факелами, и потребовать, чтобы он выдал ребенка, от которого отказалась мать. Смотрите, он ее отец, у нее такие же веснушки, как у него, видите?

Цвет кожи я унаследовала от мамы, а веснушки от папы. Он действительно хотел меня. В отличие от мамы, которая отказалась от меня ради целого мира, он отказался от целого мира ради меня. Эти веснушки — невидимая линия синих чернил, незаживающий шрам, который связывает меня с ним, точка к точке, звездочка к звездочке, веснушка к веснушке. Соединять их — как укреплять нашу связь с папой.

Глава вторая

Я всю жизнь мечтала вступить в Гарда Шихана¹, ирландскую полицию. Других планов у меня не было, и все об этом знали. В последний год школы все звали меня Детектив Веснушка.

Мисс Медоус, школьный консультант по профориентации, уговаривала меня получить образование в сфере бизнеса. Она считала, что все должны изучать бизнес, даже наши художницы, которые заходили к ней в кабинет со своими креативными, незаурядными мыслями и выходили так, будто их пролечили электрошоком, выслушав целую лекцию о преимуществах диплома по базовому курсу бизнеса. Надежное подспорье в тяжелые времена, говорила она. Поэтому бизнес ассоциировался у меня с матрасом — якобы он должен был смягчить паде-

¹ *Ирл.* Garda Síochána — дословно «Стража мира», государственная полицейская служба Ирландии. Полицейских в Ирландии называют garda — «стражи», «хранители». — *Здесь и далее прим. перев.*

ние. Но я с надеждой смотрела в будущее, никакие тяжелые времена меня не пугали, и я точно не собиралась падать. Ей так и не удалось заставить меня передумать, потому что другого места в этом мире я для себя не видела. Как оказалось, я ошибалась. Мое заявление в Гарда отклонили. Я была потрясена до глубины души. Будто мне дали под дых. Ошарашена. Никакого матраса на черный день я не подготовила, но мне удалось кое-как взять себя в руки и найти приемлемую альтернативу.

Теперь я работаю парковочным инспектором в графстве Фингел. Ношу форму, серые брюки с белой рубашкой и желтый светоотражающий жилет, и патрулирую улицы, почти как настоящая гарда, полицейская. Я близка к своей цели. Я работаю в правоохранительных органах. Я люблю свое дело, мне нравится мой распорядок, режим, график. Мне нравится дисциплина и правила, когда все четко и понятно. Есть устав, и я следую ему неукоснительно. Мне нравится, что мне доверили такую важную роль.

Моя часть расположена в Малахайде, пригороде Дублина, возле моря. Красивое местечко, не для бедняков. Я живу в студии над тренажерным залом на заднем дворе особняка на зеленой дороге, граничащей с замком Малахайд и садами.

Хозяйка, Бекки, занимается компьютерами — чем именно, не знаю. Хозяин, Доннаха, работает дома в своей студии — милой комнате с окнами на сад, где он трудится на гончарном круге. Свои творения он называет сосудами. По мне, так обычные миски. Для сухого завтрака они не подходят, с трудом вмещают две пшеничные печеньки и недостаточно глубокие для молока, особенно учитывая, сколько впитывают эти печенья. Я читала интервью

с Доннахой в журнале «Айриш таймс», где он особо подчеркивает, что это никакие не миски и вообще это слово оскорбляет его до глубины души, настоящее проклятие его профессиональной жизни. Эти сосуды несут в себе послание миру. До самого послания я не дочитала.

Он разглагольствует о каких-то глупостях, причем с таким отрешенно-задумчивым взглядом, будто его мучительные поиски смысла жизни кого-то интересуют. Слушать он не умеет, хотя от человека творческого я этого никак не ожидала. Я думала, они, как губки, впитывают все, что их окружает. Я ошиблась, но только наполовину. Он уже был переполнен таким количеством маразма, что ни на что другое места не осталось, и теперь он выливает весь этот поток информации на других. Творческое недержание. И кстати, за свои крошечные миски он берет минимум пятьсот евро.

Пятьсот евро — ровно столько составляет моя ежемесячная плата за квартиру. Почему так мало? Потому что я сижу с их тремя детьми, когда им нужно отлучиться. Обычно три раза в неделю. И всегда в субботу вечером.

Я просыпаюсь и поворачиваюсь к своему айфону — 6:58, как всегда. Пора вспоминать, где я и что происходит. Мне кажется, опережать телефон на один шаг по утрам — хорошее начало дня. Две минуты спустя звенит будильник. Папа отказался от смартфона, он считает, за всеми нами следят. Он не делал мне прививки — и не потому, что боялся за мое здоровье, у него была целая теория о том, что нам под кожу вживляют чипы. Как-то он привез меня в Лондон на неделю в честь моего дня рождения, и почти все это время мы простояли перед посольством Эк-

вадора, скандируя имя Джулиана Ассанжа. Полиция дважды прогоняла нас. Джулиан выглянул и помахал нам, и папа решил, что между ними произошло нечто эпохальное. Безмолвное взаимопонимание двух людей, которые разделяют веру в общее дело. Власть — народу. Потом мы пошли посмотреть «Мэри Поппинс» в Вест-Энде.

В семь утра я уже в душе. Завтрак. Одежда. Серые брюки, белая рубашка, черные ботинки, дождевик на случай непредсказуемой апрельской погоды. Мне нравится думать, что в этой униформе меня могут принять за гарду. Иногда я представляю, что я гарда. Нет, я не притворяюсь полицейским, это противозаконно, я делаю это только в мыслях и говорю, как они. У них такой гордый вид. Такой авторитет. Они твои защитники и друзья, когда нужна их помощь, и злейшие враги, когда ты нарушаешь закон. Они сами выбирают, кем быть, в зависимости от ситуации. Волшебство! Даже новобранцы, безбородые юнцы, умеют делать суровый, умудренный опытом взгляд полнейшего разочарования. Будто видят тебя насквозь и знают, что ты способен на большее, а ты — поганец такой! — обманул их ожидания. Простите, простите, я больше не буду. А девушки-гарда — огонь, с ними шутки плохи, зато лучшего напарника не найти.

Мои волосы длинные, жесткие и такие темные, что отливают синевой, как бензин, и чтобы их высушить, уходит целый час, поэтому я мою голову только раз в неделю. Я собираю их в пучок, прячу под фуражку, которую натягиваю как можно ниже на глаза. Вешаю на плечо парковочный терминал. Готова.

Я выхожу из гаража, перестроенного в спортзал, в пятидесяти ярдах от дома, отгороженного ог-

ромным садом, который спроектировал известный ландшафтный дизайнер. Дорога от моей квартиры петляет через тайный сад — мне разрешается ходить только этим путем, — огибает дом и выходит к боковой пешеходной калитке с кодом 1916 — это год восстания ирландских республиканцев против англичан, и выбрал его Доннаха Макговерн из Баллиджеймсдаффа. Жаль, Патрик Пирс уже не увидит, как много он делает для республики. Лепит миски на заднем дворе.

Первый этаж напротив меня почти полностью прозрачный. Раздвижные двери от пола до потолка открываются словно в каком-нибудь ресторанчике летом. Между садом и домом границы размыты. И уже непонятно, где заканчивается одно и начинается другое, и голова идет кругом. Вот такая дизайнерская дурь. Мне видны все комнаты. Как в рекламе пылесоса «Дайсон». Белые круглые футуристические штуковины в каждой комнате — они либо всасывают воздух, либо выдувают его. А сейчас эта стеклянная стена лишь демонстрирует беспорядок на кухне, по которой мельтешит Бекки, стараясь собрать своих детей в школу, прежде чем она уедет на работу в город. Про себя я называю ее самодовольной дурой. Это одна из тех женщин, которые каждую неделю закупаются кудрявой капустой и авокадо. Чихают исключительно семенами чиа, а испражняются гранатовыми зернами.

Они жалеют меня — они в своих просторных особняках, и я в однокомнатной каморке над спортивным залом. На их заднем дворе. В светоотражающем жилете и легкой защитной обуви. Ну и пусть жалеют. Моя комната стильная, чистая и теплая, и в любом другом месте мне пришлось бы платить столько же, чтобы

делить квартиру еще с тремя соседями. В моем положении можно оказаться, только если потерять все. Так думают они. А я, наоборот, отказалась от всего, что у меня было, ради этого. Так думаю я.

Мне не одиноко. По крайней мере не всегда. И я не бездельничаю. По крайней мере не всегда. Я присматриваю за папой. Делать это на расстоянии в двести пятьдесят миль не всегда просто, но я сама решила жить здесь, далеко от него, — чтобы стать ему ближе.